

ГЛАВА VI.

Отъ двадцатыхъ до сороковыхъ годовъ.

На мрачномъ общемъ фонѣ эпохи официальнаго мѣщанства яркими искрами блестѣли лучшіе изъ лишнихъ дюдей; но они свѣтили только отраженнымъ свѣтомъ.

Съ источникомъ этого свѣта—съ лучшей частью русской интеллигенціи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ—намъ предстоитъ теперь познакомиться. Изъ душнаго подполья мы снова выходимъ на свѣжій воздухъ; мы присутствуемъ при возрожденіи или даже при новомъ зарожденіи русской интеллигенціи, еще сословной по составу, но попрежнему безсословной и внѣклассовой по цѣлямъ и уже вскормившей на свой груди такого великаго представителя интеллигенціи, какимъ былъ разночинецъ Бѣлинскій. Бѣлинскій, Станкевичъ, Бакунинъ, К. Аксаковъ, Герценъ, западники и славянофилы—такова та блестящая страница изъ исторіи русской интеллигенціи, къ прочтенію которой мы приступаемъ. До сихъ поръ мы видѣли въ русской жизни и литературѣ только зародыши индивидуализма, достигшіе полного развитія лишь въ художественномъ творествѣ Пушкина и Лермонтова; теперь мы увидимъ начало индивидуализма и въ русской критической мысли, критической—въ области соціальной, экономической, этической. Правда, это будетъ только начало, но по этому началу можно судить о гигантскомъ шагѣ впередъ, сдѣланномъ русской интеллигенціей. Пусть это только начало, пусть это только зародышъ—но правъ былъ Бѣлинскій, говоря, что «русская личность пока эмбрионъ, но сколько широты и силы въ натурѣ этого эмбриона, какъ Душна и страшна ей всякая ограниченность и узость!..»

Однако сперва намъ необходимо нѣсколько возвратиться назадъ—все къ тому же 1825 году, который такъ фатально раздѣляетъ первую и вторую четверть русской жизни XIX-го вѣка. Мы видѣли, что съ этимъ годомъ соединена гибель почти всей русской интеллигенціи двадцатыхъ годовъ. Гибель декабристовъ была началомъ конца сословности русской интеллигенціи; съ этихъ именно поръ интеллигенція начинаетъ мало-по-малу становиться внѣклассовой и безсословной. Появляется «разночинецъ». Въ годъ гибели декабристовъ, въ годъ полного разгрома дворянской по составу русской интеллигенціи, на литературной сценѣ выдвигается впередъ разночинецъ Полевой, начиная изданіе «Московского Телеграфа», перваго русскаго журнала съ тысячами подписчиковъ. Вслѣдъ за нимъ въ ряды русской интеллигенціи входитъ Надеждинъ и, наконецъ, Бѣлинскій, перекидывающій мостъ къ шестидесятымъ годамъ, когда огромной толпой «разночинецъ пришелъ», когда русская интеллигенція стала въ своемъ цѣломъ безсословна и внѣклассова не только по духу, но и по составу. Разгромъ интеллигенціи двадцатыхъ годовъ нанесъ смертельный ударъ политическому либерализму, попыткѣ синтеза личности и государства, и вторая четверть XIX-го вѣка властно подавляетъ подобные запросы: наступаетъ гнетущая эпоха официальнаго мѣщанства, та эпоха, о которой можно сказать знаменитыми словами кн. Вяземскаго, что въ это время въ Россіи не было общества, а было одно народонаселеніе. Въ предыдущей главѣ мы познакомились съ этой эпохой, съ торжествомъ ея системы; мы увидимъ теперь, къ полному нашему удовлетворенію, что эпоха официальнаго мѣщанства была въ то же время эпохой высшаго и интенсивнѣйшаго развитія русской интеллигенціи, что системѣ официальнаго мѣщанства не удалось подавить личность и обратить общество въ народонаселеніе.

Въ 1825 году погибла русская интеллигенція двадцатыхъ годовъ; приблизительно въ это же время допѣвалъ свои послѣднія пѣсни русскій псевдо-романтизмъ (не «ультра»). Вмѣстѣ съ мужавшимъ Пушкинымъ въ русскую литературу входилъ реализмъ, первымъ и яркимъ проявленіемъ котораго былъ «Евгеній Онѣгинъ» (до конца 1825 года написана половина) и «Борисъ Годуновъ»; но въ то же самое время мало-по-малу зарождалась новая русская интеллигенція, знаменемъ которой сталъ опять романтизмъ, на этотъ разъ философскій. Съ этой вспышки философскаго романтизма начинается исторія русской интеллигенціи второй четверти XIX-го вѣка, а предшественницей этой интеллигенціи тридцатыхъ годовъ является небольшая группа «идеалистовъ» первой четверти этого столѣтія. Двадцатые и тридцатые

тые годы явились крайне важнымъ подготовительнымъ періодомъ быстрой эволюціи тѣхъ теченій русской общественной мысли, апогей развитія которыхъ приходится уже на сороковые годы.

Этотъ подготовительный періодъ является въ то же время и однимъ изъ наиболѣ блестящихъ періодовъ въ исторіи русскаго идейнаго развитія. По крайней мѣрѣ именно въ эпоху тридцатыхъ годовъ, т.-е. въ промежутокъ времени съ 1826-го по 1840-ой годъ, русская интеллигенція въ лицѣ Кирѣевскихъ, К. Аксакова, Станкевича, Бакунина, Бѣлинскаго, Герцена, Грановскаго, Огарева и др. передумываетъ и переживаетъ всю многообразную умственную жизнь Запада, начиная съ философскихъ системъ Шеллинга и Гегеля и кончая социалистическими идеалами сенъ-симонизма. «Въ это десятилѣтіе мы перечувствовали, перемыслили и пережили всю умственную жизнь Европы, эхо которой отдалось къ намъ черезъ Балтійское море», писалъ Бѣлинскій еще въ серединѣ тридцатыхъ годовъ («Литературныя мечтанія»), не подозревая, что находится далеко не въ концѣ этого пути — пути усвоенія и переработки западной мысли. Этотъ процессъ усвоенія Бѣлинскій былъ склоненъ судить очень строго: «мы обо всемъ пересудили, обо всемъ переспорили, все усвоили себѣ, ничего не взрастивши, не взлелѣявши, не создавши сами. За насъ трудились другіе, а мы только брали готовое и пользовались имъ: въ этомъ-то и заключается тайна неимовѣрной быстроты нашихъ успѣховъ и причина ихъ неимовѣрной непрочности»... Это — лучшій эпиграфъ ко всей эпохѣ тридцатыхъ годовъ. Конечно, далеко не «обо всемъ» переспорили и передумали люди тридцатыхъ годовъ къ тому времени, когда Бѣлинскій писалъ эти слова (1834 г.): русской мысли еще предстояло пройти черезъ фазы фиктианства и гегельянства, т.-е. совершить существенную часть пути своего развитія; съ другой стороны, люди тридцатыхъ годовъ далеко не «только брали готовое» изъ области западно-европейской мысли: самъ Бѣлинскій подтверждаетъ, что они всѣ эти взятыя мысли «передумывали», т.-е. превворяли ихъ въ нѣчто свое собственное, въ плоть отъ плоти и кость отъ костей своихъ. Но въ общемъ Бѣлинскій правъ, указывая на «неимовѣрную быстроту» умственнаго развитія и на «неимовѣрную непрочность» его, какъ на характерный признакъ эпохи тридцатыхъ годовъ; дѣйствительно, тридцатые годы характеризуются, съ одной стороны, быстрымъ ростомъ русской мысли, а съ другой — не менѣ быстрой смѣной разныхъ идейныхъ теченій. Ясно, что оба эти явления находятся въ тѣсной причинной связи другъ съ другомъ: быстрая смѣна умственныхъ теченій была слѣдствіемъ бурнаго внутренняго развитія людей тридцатыхъ годовъ и, въ свою очередь, становила с

однимъ изъ причинныхъ факторовъ дальнѣйшаго идейнаго роста. Нашей задачей и является возстановленіе всего этого причиннаго ряда; возстановить его—значить опредѣлить внутреннюю идейную зависимость эпохи тридцатыхъ годовъ отъ предыдущей и ея вліяніе на послѣдующую, значить объяснить эволюцію общественной мысли въ самой эпохѣ тридцатыхъ годовъ.

Люди тридцатыхъ годовъ не были пионерами на этомъ пути разработки западно-европейской мысли. Правда, между ними и людьми двадцатыхъ годовъ, представителями течения декабризма, была непреходимая пропасть; но существовалъ и тотъ мостъ, который соединялъ въ этомъ отношеніи двадцатые и тридцатые годы. Человѣкъ двадцатыхъ годовъ—Пестель, человѣкъ тридцатыхъ годовъ—Станкевичъ; мы намѣренно беремъ высшихъ представителей той и другой эпохи, такъ какъ въ нихъ ярче видна намъ пропасть, раздѣляющая одного отъ другого. Пестель—до мозга костей рационалистъ, вѣрный ученикъ французскихъ философовъ XVIII столѣтія, послѣдователь теорій «Общественнаго договора», воспитанный на Монтеスキе, Руссо, Вольтерѣ, Гельвеціи, поклонникъ экономическихъ трактатовъ Сея и политическихъ памфлетовъ Бенжамэна Констана. Станкевичъ—послѣдователь философскаго и литературнаго романтизма, сторонникъ Шеллинга и Шлегеля, одинъ изъ пионеровъ русскаго гегельянства, врагъ французской философіи, одинаково равнодушный и къ экономикѣ и къ политикѣ. Повидимому, это полный контрастъ; и вполне естественно, что ищутъ объясненія возможности этого контраста въ томъ историческомъ фактѣ, который отдѣляетъ Станкевича отъ Пестеля—въ 14-мъ декабрѣ 1825 г. Станкевичъ, какъ типъ,—дитя общественной реакціи начала николаевскаго царствованія; отсюда его стремленіе въ надзвѣздные края романтизма, его отрицательное отношеніе къ «политикѣ» и т. п. Въ такомъ объясненіи есть значительная доля истины, но далеко не вся истина; надо обращать вниманіе не только на внѣшнія условія, но и на внутренній складъ жизни человѣка, на его духовную организацію. Иначе мы никогда не поймемъ, почему рядомъ съ Пестелемъ возможенъ, на примѣръ, кн. В. О. Одоевскій, почему рядомъ со Станкевичемъ возможенъ Герценъ; а между тѣмъ преемственная связь между Пестелемъ и Герценомъ настолько же несомнѣнна, насколько и преемственная связь между кружками кн. Одоевскаго и Станкевича. Разница только въ томъ — и причина этой разницы лежитъ, дѣйствительно, въ условіяхъ общественной жизни, — что въ тридцатыхъ годахъ первенствовалъ Станкевичъ надъ Герценомъ (беремъ эти имена, какъ обозначеніе типовъ), а въ двадцатыхъ годахъ—Пе-

211

стель надъ Одоевскимъ. Связь между этими теченіями такова: кружокъ русскихъ шеллингианцевъ двадцатыхъ годовъ является тѣмъ моментомъ, который соединяетъ меньшинство интеллигенціи этой эпохи съ большинствомъ людей тридцатыхъ годовъ, точно такъ же, какъ кружокъ Герцена и Огарева является нитью, связывающей меньшую часть интеллигенціи тридцатыхъ годовъ съ громаднымъ большинствомъ людей эпохи декабризма.

Изъ всего этого ясно, что люди тридцатыхъ годовъ не блуждали въ пустынь и не были пионерами въ разработкѣ научно-философской мысли Запада и въ борьбѣ противъ теорій французскихъ философовъ XVIII вѣка. Такими пионерами были русскіе шеллингианцы двадцатыхъ годовъ, считавшіе своимъ родоначальникомъ перваго русскаго ученика Шеллинга — профессора Велланскаго, и группировавшіеся въ двадцатыхъ годахъ вокругъ другого извѣстнаго профессора-шеллингианца — М. Г. Павлова, такъ ярко очерченнаго въ воспоминаніяхъ Герцена. И прежде чѣмъ перейти къ изученію умственныхъ теченій тридцатыхъ годовъ, необходимо познакомиться съ міровоззрѣніемъ того меньшинства русской интеллигенціи эпохи декабризма, которое первое проложило дорогу къ философскому и литературному романтизму Шеллинга и Шлегеля.

Родоначальникомъ русскаго шеллингианства былъ профессоръ петербургской медико-хирургической академіи Д. М. Велланскій. Въ самомъ началѣ XIX вѣка онъ былъ посланъ въ заграничную командировку для «усовершенія» въ физиологіи, патологіи и гігіенѣ; тамъ онъ сталъ послѣдователемъ знаменитой въ то время въ медицинѣ школы Броуна (Джонъ Броунъ, «Elementa medicinae», 1779 г.). Эта школа Броуна восприняла основные элементы философіи Шеллинга; руководителями этой школы были доктора Маркусъ и Решлаубъ (въ Бамбергѣ), открыто признавшіе себя учениками Шеллинга, и внесшіе въ медицину основные принципы шеллинговой философіи природы. Послѣдователемъ этой школы сдѣлался и Велланскій ¹⁾, и, такимъ образомъ, первое знакомство съ нѣмецкой философіей произошло въ Россіи подъ эгидой медицины... Уже въ 1805 году Велланскій напечаталъ двѣ работы философско-медицинскаго характера, а въ 1812 г. выпустилъ въ свѣтъ *«Біологическое изслѣдованіе природы въ творящемъ и творимомъ ея качествахъ, содержащее основныя начертанія все-*

¹⁾ Изъ работъ самого Шеллинга Велланскому несомнѣнно были извѣстны (ибо отразились въ его собственныхъ изслѣдованіяхъ) «Ideen zu einer Philosophie der Natur» и статьи, печатавшіяся въ журналахъ Шеллинга «Zeitschrift für speculative Physik» и «Kritische Journal der Philosophie».

общей физиологии». Книга эта получила широкое распространение и может, по справедливости, считаться тѣмъ фундаментомъ, на которомъ строили свое міровоззрѣніе русскіе шеллингианцы двадцатыхъ годовъ. И Велланскій былъ совершенно правъ, заявляя впоследствии (въ письмѣ къ кн. В. Одоевскому отъ 17-го іюня 1824 г.): «я первый возвѣстилъ россійской публикѣ о новыхъ познаніяхъ... которыя... образовались и созрѣли въ Шеллингѣ». Выступившій въ двадцатыхъ годахъ съ проповѣдью шеллингианства профессоръ М. Г. Павловъ нашелъ уже почву значительно подготовленной.

Не одному Велланскому принадлежитъ, однако, заслуга подготовки почвы для усвоенія идей нѣмецкой философіи. Еще въ *«Московскихъ Ученыхъ Вѣдомостяхъ»* (1805—1807 гг.) извѣстный въ то время московскій профессоръ Буле напечаталъ критическій разборъ *«Vorlesungen über die Methode»* etc. Шеллинга, а въ *«Сѣверномъ Вѣстникѣ»* 1805 г. было помѣщено «Письмо о критической философіи профессора философіи Лубкина; любопытно свидѣтельство нѣкоего фонъ-Хорна, тоже московскаго профессора философіи, что къ 1812 году критическая философія уже распространилась въ Россіи. Во всякомъ случаѣ, уже въ 1813 году въ Харьковѣ было переведено и напечатано «сочиненіе Ивана Фихта» (*«Sonnenklarer Bericht über das Wesen»* etc.; въ переводѣ озаглавлено: «Яснѣйшее изложеніе, въ чемъ состоитъ существенная сила новѣйшей философіи»), а вотчимъ Ивана и Петра Кирѣевскихъ, А. А. Елагинъ, бывший сперва послѣдователемъ Канта, въ 1819 г. перевелъ шеллинговскія *«Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus»*. Вообще Кантъ — и это, какъ мы увидимъ, характерно для исторіи русской (и не только русской) мысли и двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ — стоялъ на заднемъ планѣ и всегда былъ заслоненъ то Шеллингомъ, то Фихте, то Гегелемъ; недаромъ Иванъ Кирѣевскій въ одномъ изъ своихъ писемъ двадцатыхъ годовъ утверждалъ, что «читатели Канта относятся къ читателямъ Шеллинга—какъ 5 къ 5000»... Несомнѣнно во всякомъ случаѣ, что среди части молодежи двадцатыхъ годовъ нѣмецкая философія находила пока немногочисленныхъ, но горячихъ приверженцевъ. По свидѣтельству Надеждина, къ 1820-му году существовали цѣлыя рукописныя переводы основныхъ работъ Канта, Фихте и Шеллинга; на торжественныхъ университетскихъ актахъ профессора выступали съ рѣчами, посвященными критикѣ или восхваленію нѣмецкой философіи, особенно въ ея приложеніи къ этикѣ (напр., рѣчи проф. Лубкина и Срезневскаго на актахъ Казанскаго университета въ 1815 и 1817 гг.).

Все это ясно показываетъ, что нѣмецкая философія въ Россіи

явилась не сразу во всеоружіи какъ Аѳина изъ головы Зевса, но прошла долгій и послѣдовательный путь развитія. Къ двадцатымъ годамъ — годамъ расцвѣта декабризма — она была еще достояніемъ меньшинства русской интеллигенціи, но все же съ ней уже начинали считаться. Сторонники политическаго либерализма и французской философіи съ пренебреженіемъ отзывались о «безпонятной Кантовой Философіи» («Духъ Журналовъ», 1820 г., ч. IV) и недоумѣвали, «по какому чудесному обстоятельству Шеллингъ не преподаетъ ученія своего въ домѣ сумасшедшихъ!» («Вѣстн. Евр.», 1817 г., ч. ХCV, стр. 259). И въ то же время въ этихъ же журналахъ помѣщались статьи о «безпонятной философіи»... Правда, статьи эти помѣщались съ редакціонными оговорками въ такомъ, напримѣръ, родѣ: «просимъ великодушнаго терпѣнія у читателей. Нѣмецкая галиматья и въ русскомъ переводѣ не можетъ не быть галиматьею же»... (ibid.); правда, въ журналахъ помѣщались иногда цѣлыя пародіи на «Шеллингову философію», но все же съ этой «галиматьею» мало-по-малу начинали считаться, а въ нѣкоторыхъ кругахъ ея начинали уже и бояться. Знаменитый разгромъ университетовъ въ послѣдніе годы царствованія Александра I былъ вызванъ развитіемъ именно нѣмецкой философіи: оффиціальныи мистицизмъ конца двадцатыхъ годовъ видѣлъ въ критической философіи своего смертельнаго врага. Магницкій, обезсмертившій свое имя этимъ разгромомъ университетовъ, называлъ философію Шеллинга «богопротивной» и характеризовалъ ее какъ «вольнодумство и развратъ»; профессоръ естественнаго права Солнцевъ былъ уволенъ изъ Казанскаго университета за свое «кантіанство»; за это же нѣсколько позднѣе профессоръ Бѣлоусовъ былъ не только уволенъ, но и высланъ на родину подъ надзоръ полиціи; наконецъ, противъ извѣстнаго въ то время профессора философіи Галича было выставлено обвиненіе, сформулированное въ слѣдующихъ безсмертныхъ словахъ: онъ де «явно предпочитаетъ» язычество христіанству, распутную философію—дѣвственной Невѣстѣ, церкви Христовой, безбожнаго Канта—Христу, а Шеллинга—Духу Святому...

Конечно, не такому изувѣрному обскурантизму Магницкаго и присныхъ его было остановить развитіе идей нѣмецкой философіи среди людей двадцатыхъ годовъ; и неудивительно, что въ самый разгаръ университетскихъ разгромовъ (1821—1823 гг.) въ Москвѣ окрѣпъ и сплотился около профессора Павлова тотъ кружокъ русскихъ шеллингианцевъ, о которомъ у насъ была уже рѣчь на предъидущихъ страницахъ. Въ 1823 г. организовалось одно литературное общество (вокругъ литератора С. Е. Раича, еще и теперь не совсѣмъ

забытаго, благодаря сравнительно недурнымъ переводамъ «Неистоваго Орланда» и «Освобожденнаго Іерусалима»); на засѣданіяхъ этого общества читались рефераты по исторіи, литературѣ, философіи — такъ, напримѣръ, кн. В. Ѳ. Одоевскій читалъ свои переводы изъ Окена, А. И. Кошелевъ—переводы изъ Платона, Д. В. Веневитиновъ—статью «Нѣсколько мыслей въ планъ журнала». (Эта послѣдняя мысль членовъ кружка объ изданіи журнала скоро была осуществлена Полевымъ: въ 1825 году появился «Московскій Телеграфъ», а нѣсколько позднѣе сами «архивные юноши» попытались издавать «Московскій Вѣстникъ», о которомъ рѣчь будетъ ниже). Отъ этого Раичевского литературнаго общества вскорѣ отдѣлилось философское общество — тотъ самый кружокъ русскихъ шеллингианцевъ, о которомъ мы говорили выше; главными членами его были кн. Одоевскій, Веневитиновъ, Иванъ и Петръ Кирѣевскіе, Кошелевъ, Шевыревъ, Погодинъ, Соболевскій и др., а нѣсколько позднѣе—Кюхельбекеръ. Изъ нихъ почти всѣ, за исключеніемъ Одоевскаго, Погодина и Кюхельбекера, служили въ это время въ московскомъ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ, почему впослѣдствіи и получили съ легкой руки Соболевскаго и Пушкина, прозвище «архивныхъ юношей» (см. «Евгеній Онѣгинъ», гл. VII, строфа XLIX). Роль этихъ «архивныхъ юношей» и вообще шеллингианцевъ двадцатыхъ годовъ въ исторіи русской литературы довольно значительна хотя бы по одному тому, что они, повидимому, оказали воздѣйствіе на Пушкина въ области развитія его литературныхъ и эстетическихъ взглядовъ, какъ мы это еще увидимъ ниже. Что же касается ихъ философскаго кружка, который былъ ими окрещенъ «Обществомъ Любомудрія», то кружокъ этотъ былъ закрытый, хотя и имѣвшій и уставъ и протоколы засѣданій (къ сожалѣнію, сожженные Одоевскимъ послѣ 14-го декабря 1825 г.). Въ литературѣ этотъ кружокъ проявилъ себя изданіемъ четырехтомнаго альманаха «Мнемозина» (1824 г.), въ то время оставшагося мало замѣченнымъ въ широкой публикѣ, но имѣющаго въ настоящее время значительную историко-литературную цѣнность. Мы остановимся на этомъ альманахѣ, поскольку въ немъ отразилось мировоззрѣніе русскихъ шеллингианцевъ эпохи двадцатыхъ годовъ, сотрудниковъ «Мнемозины» и членовъ упомянутаго выше «Общества Любомудрія».

«Любомудріе» было направлено, главнымъ образомъ, противъ французской и англійской философіи, противъ рационализма и эмпиризма во всѣхъ ихъ проявленіяхъ. «До сихъ поръ Философа не могутъ себѣ представить иначе, какъ въ образѣ французскаго говоруна XVIII вѣка; посему-то мы для отличія и называемъ истинныхъ Фило-

софовъ—*Любомудрами*», заявлялъ кн. Одоевскій («Мнемозина», ч. IV, стр. 163; кстати замѣтить, что слово «любомудріе» не впервые введено русскими шеллингианцами, а постоянно встрѣчается въ русской литературѣ XVIII вѣка, особенно въ масонской). Борьба съ «офранцуженными теоріями» — главная задача «Мнемозины». Первая же книжка этого альманаха открывается извѣстнымъ апологомъ кн. Одоевскаго «Старики или островъ Панхай»: тамъ старички-младенцы складываютъ песчинку къ песчинкѣ, думая соорудить громадное зданіе — это занятіе называется «опытными знаніями»; другіе старички-младенцы размѣриваютъ землю для этой постройки и каждый мѣрять своимъ аршинѣмъ — это занятіе носить названіе «офранцуженныхъ теорій»... А рядомъ съ этими «стариками-младенцами» живутъ «вѣчно-юные старцы», «безсмертные юноши» (конечно, это — идеализированные «архивные юноши»...): ихъ немного, «большая часть даже не знаетъ о существованіи сихъ юношей», но они пренебрегаютъ мнѣніемъ толпы стариковъ-младенцевъ и стремятся «къ *возвышенному*»... И наши «архивные юноши» поставили задачей «Мнемозины» — «положить предѣлы нашему пристрастію къ Французскимъ Теорикамъ», показать, что «новое ясное солнце, восходя отъ страны древнихъ Тевтоновъ, уже начинаетъ лучами выпрениаго умозрѣнія освѣщать безконечную окружность познаній»... («Мнемозина», ч. I, стр. 8—10, 182, ч. IV, стр. 233). Это «выспреннее умозрѣніе» было, конечно, шеллингианство, легшее въ основу и «Мнемозины» и «Общества Любомудрія».

«Вы не можете себѣ представить, — писалъ впоследствии Одоевскій во вступленіи къ своимъ «Русскимъ Ночамъ», — какое дѣйствіе произвела въ свое время шеллингова философія, какой толчокъ дала она людямъ»... Мы не имѣемъ возможности остановиться здѣсь на изложеніи философіи Шеллинга, но во всякомъ случаѣ должны указать на тѣ ея стороны, которыя оказали наиболѣе сильное вліяніе на русскихъ шеллингианцевъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Такихъ сторонъ двѣ: во-первыхъ, философія природы, оказавшая сильное вліяніе еще на Велланскаго, и, во-вторыхъ, философія искусства, особенно повліявшая на позднѣйшихъ русскихъ шеллингианцевъ, вплоть до Станкевича. Философія природы была по преимуществу «профессорской философіей» среди русскихъ шеллингианцевъ: начиная съ 1805 года и вплоть до конца тридцатыхъ годовъ ее неутомимо преподавалъ Велланскій въ цѣломъ рядѣ курсовъ и публичныхъ лекцій; въ московскомъ университетѣ ее не менѣе рьяно пропагандировалъ Павловъ (къ слову сказать, тоже одинъ изъ сотрудниковъ «Мнемо-

зины», помѣстившій тамъ статью «О способахъ изслѣдованія природы»).
 Иное дѣло философія искусства—она заинтересовала собою не только
 специалистовъ-философовъ, но и всѣхъ романтиковъ двадцатыхъ годовъ,
 не удовлетворявшихся болѣе старыми «французскими теориками» въ
 родѣ Батте или Лагарпа. Извѣстно отношеніе Шеллинга къ роман-
 тизму, его близкая связь съ Тикомъ, обоими Шлегелями и другими
 главарями литературнаго романтизма. Шеллингъ по справедливости
 можетъ считаться философскимъ идеологомъ этого замѣчательнаго
 теченія начала XIX вѣка, не говоря уже о томъ, что его философія
 есть въ сущности гениальная романтика. Извѣстна также роль, ко-
 торую играетъ понятіе «художественнаго творчества» въ конструкціи
 философіи Шеллинга: роль эта—центральная, лежащая во главѣ угла
 всей системы трансцендентальнаго идеализма. Міръ есть единый «все-
 общій организмъ», индивидъ есть только обведеніе узкимъ кругомъ,
 концентрація этого организма; «общимъ идеаломъ природы» является
 созданіе, творчество такого индивидуальнаго организма, въ которомъ
 были бы гармонично соединены и абсолютное индивидуальное стре-
 мленіе и абсолютный законъ природы (т.-е. свобода и необходимость);
 послѣдовательныя попытки природы достигнуть этого общаго идеала
 и составляютъ то, что мы называемъ развитіемъ, эволюціей. Это
 стремленіе къ творчеству есть въ то же время и органическая сила,
 сила, присущая каждому организму; «стремленіе къ художественному
 творчеству» свойственно каждому организму, но во всѣхъ организ-
 махъ, стоящихъ на ступеняхъ развитія ниже человѣка, это творче-
 ство является результатомъ не свободы, а необходимости (впослѣд-
 ствіи скажутъ—инстинкта); только въ человѣкѣ художественное твор-
 чество есть сознательный актъ—и въ этомъ отношеніи человѣкъ
 подобенъ творящей природѣ. Весь міръ есть божественное художе-
 ственное твореніе, весь міръ есть живое произведеніе искусства; чело-
 вѣкъ въ свою очередь творитъ, и его творчество есть завершеніе,
 высшая ступень творящей силы природы. Не всякій человѣкъ обла-
 даетъ, однако, эстетическимъ чувствомъ, а тѣмъ болѣе далеко не
 всякій обладаетъ творческой силой; ею обладаютъ крайне немногіе—
 гении. Безъ генія нѣтъ искусства, а есть только ремесленничество;
 гений и искусство—понятія коррелятивныя; міръ, какъ художествен-
 ное произведеніе, завершается твореніемъ генія. (Здѣсь Шеллингъ
 философски обосновываетъ ту эстетику романтизма, которая была
 развита въ литературѣ Шлегелемъ). И именно въ художникѣ-гении
 имѣется то соединеніе свободы творчества съ необходимостью формъ,
 которое, какъ мы знаемъ, является общимъ идеаломъ природы; худож-

никъ создаетъ «безконечное, выраженное въ конечной формѣ — красоту». И, какъ высшее проявленіе творческой силы, какъ завершение творящей силы природы, произведеніе гениальнаго художника не имѣетъ никакой цѣли внѣ себя: цѣль его — въ немъ самомъ, и эта самоцѣль художественнаго произведенія является лучшимъ показателемъ высоты и святости искусства ¹⁾).

Вотъ та шеллингианская философія искусства, та романтическая эстетика, которая на долгое время — вплоть до сороковыхъ годов — стала господствующей среди русской интеллигенціи и вліяніе которой черезъ посредство «архивныхъ юношей» отразилось даже на Пушкинѣ; вотъ та часть философіи Шеллинга, которая заслонила передъ русскими шеллингианцами всѣ другія ея части. Въ «Мнемозинѣ» мы найдемъ многочисленныя варіаціи на отмѣченныя нами выше положенія романтической теоріи искусства, выраженной въ терминологіи Шеллинга. Кн. Одоевскій неоднократно подчеркиваетъ, что «міръ Изящный—созданіе чловѣка—основанъ на тѣхъ же единыхъ, непремѣнныхъ законахъ, по которымъ движется и міръ Вещественный—созданіе Всемогущаго»... («Мнемозина», ч. I, стр. 64); въ любопытныхъ «Афоризмахъ изъ различныхъ писателей (?), по части современнаго германскаго любомудрія», помѣщенныхъ во второй части «Мнемозины», тотъ же Одоевскій излагаетъ даже основныя положенія шеллинговой теоріи познанія, указывая на тождество субъекта и объекта въ абсолютномъ (по терминологіи Одоевскаго—«идея сего совершеннаго единства Отвлеченнаго съ Вещественнымъ есть *Абсолютъ*»; см. ч. II, стр. 82, а также стр. 78—79); тутъ рядомъ Кюхельбекеръ описываетъ свои заграничныя путешествія, свои встрѣчи и бесѣды съ Тикомъ и другими нѣмецкими романтиками. И на засѣданіяхъ «Общества любомудровъ» разрабатывались тѣ же философскія и литературныя темы, обнаруживалось то же знакомство «архивныхъ юношей» съ «выспреннимъ умозрѣніемъ» Шеллинга. Такъ, напримѣръ, прочитанный Вeneвитиновымъ на одномъ изъ засѣданій отрывокъ «Бесѣда Платона съ Анаксагоромъ» показываетъ близкое знакомство автора съ «Philosophie und Religion» Шеллинга ²⁾; мы могли бы при-

¹⁾ Schelling, «System des transcendentalen Idealismus», V, § 3 и VI, §§ 1—2; см. еще еро «Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie и «Ueber das Verhältniss der bildenden Künste zu der Natur».

²⁾ Основная мысль статьи Вeneвитинова вложена имъ въ уста Анаксагора: «итакъ,—говоритъ онъ Платону,—если я понялъ твою мысль, то золотой вѣкъ дѣйствительно существовалъ и снова ожидаетъ смертныхъ»... (Д. Вeneвитиновъ, собр. соч. изд. 1862 г., стр. 156). Ср. Schellings Sämmtliche Werke,

вести цѣлый рядъ подобныхъ сопоставленій, но и безъ нихъ ясно близкое знакомство русскихъ шеллингянцевъ этой эпохи съ первоисточникомъ воспринятой ими философской системы. Люди двадцатыхъ годовъ учились много и упорно; они отличались настойчивымъ постоянствомъ мысли (кн. Одоевскій остался шеллингянцемъ до конца шестидесятыхъ годовъ); они учились и звали учиться другихъ. Кн. Одоевскій въ «Мнемозинѣ» перечисляетъ мимоходомъ тѣ журналы, которые знакомы ему и его друзьямъ: это — Isis Окена, Kritische Journal der Philosophie Шеллинга и Гегеля, Zeitschrift für spekulative Physik Шеллинга (1800—1802 гг.), Die Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft его же (1805 г. и сл.), Allgemeine Zeitschrift von Deutschen für Deutsche его же (1813 г.) и мн. др. («Мнемозина», ч. III, стр. 184). Немногіе въ то время были знакомы даже съ самыми названіями этихъ журналовъ; и Одоевскій имѣлъ полное основаніе иронически спросить журналистовъ, нападавшихъ на «Мнемозину» и называвшихъ ее «посредственнымъ изданіемъ» (см. «Сынъ Отечества», 1824 г., № 38): «названія мною выставленныя Нѣмецкихъ Журналовъ не почитаете ли за individua изъ натуральной исторіи?..» («Мнемозина», ч. III, стр. 186). «Учиться бы, учиться»,—заканчиваетъ Одоевскій свой отвѣтъ, и мы увидимъ, что этими же самыми словами вскорѣ начнетъ свою дѣятельность Бѣлинскій.

«Любомудры» были хорошо знакомы съ философіей Шеллинга—изъ всего предыдущаго это слѣдуетъ съ достаточной очевидностью; но не менѣе очевидно и то, что «тонъ былъ взятъ въ *Мнемозинѣ* слишкомъ высоко», по вполнѣ вѣрному замѣчанію П. Милюкова. Не одни невѣжественные сотрудники «Сына Отечества», но и масса читающей публики той эпохи могла, пожалуй, принять какую-нибудь Isis или Zeitschrift за особую породу животныхъ... Широкіе круги русской интеллигенціи были въ это время увлечены идеей политической борьбы и въ этой области обладали не меньшими знаніями, чѣмъ «любомудры» въ нѣмецкой философіи; декабристы были хорошо знакомы съ французскими энциклопедистами, со Смитомъ и Сэемъ, съ Бентамомъ, Б. Констаномъ, Детю-де-Тарси и съ успѣхомъ пропагандировали идеи этихъ писателей устно и печатно. «Любомудры» же потерпѣли въ своей пропагандѣ жестокое фіаско, такъ какъ значительная часть интеллигенціи той эпохи была увлечена идеалами и идеями декабризма, а для остальной массы читающей публики «высprenнее умозрѣніе» любомудровъ было китайской грамотой. Понадо-
v. VI, p. 57—59 («Philosophie und Religion») и «Untersuchungen über die menschliche Freiheit», ibid., v. VII, p. 378—380).

билось еще полтора десятилетія для того, чтобы провести въ широкую публику это «выспреннее умозрѣніе» въ послѣдовательныхъ формахъ шеллингианства, фихтианства и гегельянства; впрочемъ, даже въ концѣ тридцатыхъ годовъ въ публикѣ такъ отзывались о статьяхъ Бѣлинскаго и его друзей въ «Московскомъ Наблюдателѣ»: «тамъ такая все гниль, ничего не разберешь. Все о субъектахъ да объектахъ толкуютъ. Философія съ ума свела» (письмо Панаева къ Бѣлинскому отъ 11 окт. 1838 г.). Мы прослѣдимъ сейчасъ за этимъ послѣдовательнымъ развитіемъ русской общественной мысли тридцатыхъ годовъ, но сперва закончимъ наше знакомство съ московскими любомудрами и съ ихъ дѣятельностью въ литературѣ.

И прежде всего надо отвѣтить на вопросъ: не было ли все-таки въ проповѣди «любомудровъ» какихъ-либо сторонъ, вошедшихъ въ жизнь, вошедшихъ въ литературу, а не оставшихся гласомъ вопіющаго въ пустынь? По нашему мнѣнію такой стороной является *эстетическій индивидуализмъ* «любомудровъ», повидимому отразившійся на Пушкинѣ, хотя современные «пушкинисты» и оспариваютъ этотъ фактъ. Правда, по настроенію своему Пушкинъ двадцатыхъ годовъ былъ ближе къ декабризму, а къ нѣмецкой философіи относился почти враждебно и, по свидѣтельству Погодина, «декламировалъ противъ философіи» и подшучивалъ надъ любомудрами, до которыхъ-де стоитъ лишь прикоснуться пальцемъ, чтобы сразу полилась всемірная ученость... Но это не могло помѣшать Пушкину получить въ кругу «любомудровъ» новый импульсъ въ сторону эстетическаго индивидуализма, съ которымъ такъ консонировала душа Пушкина. Въ другихъ случаяхъ ихъ вліяніе на Пушкина еще болѣе замѣтно. Такъ, напри- мѣръ, Анненковъ передаетъ, что Веневитиновъ обратилъ вниманіе Пушкина на Гёте (Пушкинъ плохо зналъ нѣмецкій языкъ); въ своемъ посланіи «Къ Пушкину» Веневитиновъ, дѣйствительно, призываетъ Пушкина «доплатить Каменамъ долгъ вдохновенія» и послѣ Шенье и Байрона воспѣть Гёте; очень вѣроятно предположеніе Анненкова, что написанная вскорѣ Пушкинымъ сцена между Мефистофелемъ и Фаустомъ была прямымъ отвѣтомъ на вызовъ Веневитинова. Наконецъ, до сихъ поръ остался, кажется, неотмѣченнымъ любопытный фактъ вліянія на Пушкина «Мнемозины»: тамъ въ статьяхъ стараго товарища Пушкина, Кюхельбекера, впервые были высказаны оригинальные для того времени взгляды на Байрона и Шекспира,—взгляды, которые Пушкинъ буквально повторилъ годомъ позже и которымъ не измѣнялъ впослѣдствіи (см. «Мнемозина», ч. III, стр. 172—173 и ср. съ письмомъ Пушкина къ Н. Н. Раевскому отъ сентября 1825 г.).

Другой стороной литературной дѣятельности «любомудровъ», — стороной такъ или иначе отразившейся на дальнѣшемъ теченіи русской литературы—была ихъ борьба съ сентиментальнымъ псевдо-романтизмомъ, которому они, романтики въ душѣ, не могли сочувствовать; если и былъ въ это время романтизмъ въ русской литературѣ, то ужъ конечно не въ произведеніяхъ Жуковского или Марлинскаго, а въ интересныхъ попыткахъ кн. В. Одоевскаго. Тѣмъ интереснѣе борьба его и его друзей съ сентиментальнымъ псевдо-романтизмомъ. Въ статьѣ «О направленіи нашей поэзіи, особенно лирической, въ послѣднее десятилѣтіе» («Мнемозина», 1824 г., ч. II, стр. 37—8) В. Кюхельбекеръ говорить: «...что же наша романтика?... Гдѣ найдемъ ее въ большей части своихъ мутныхъ, ничего не опредѣляющихъ, изнѣженныхъ, безцвѣтныхъ произведеніяхъ? У насъ все мечта и призракъ, все мнится и кажется и чудится, все только будто бы, какъ-бы, нѣчто, что-то... Чувствъ у насъ уже давно нѣтъ: чувство унынія поглотило всѣ прочія. Всѣ мы взапуски тоскуемъ о своей погибшей молодости, до безконечности жуемъ и пережевываемъ эту тоску... Картины вездѣ однѣ и тѣ же: луна, которая—разумѣется—уныла и блѣдна; скалы и дубравы, гдѣ ихъ никогда не бывало; ...изрѣдка длинныя тѣни и привидѣнія, что-то невидимое, что-то невѣдомое;... въ особенности же—*туманы*: туманы надъ водами, туманы надъ боромъ, туманы надъ полями, туманъ въ головѣ сочинителя...» Все это—остроумный и мѣткій выпадъ противъ Жуковского и его школы, противъ крайностей сентиментальнаго псевдо-романтизма. И кн. В. Одоевскій повторяетъ въ слѣдующемъ томѣ «Мнемозины» эти нападки на псевдо-романтизмъ, указывая, что среди русскаго общества нашлись люди, «кои осмѣлились покинуть уныніе и сладострастіе, разогнать густые туманы, забыть о лунѣ и заниматься своимъ совершенствованіемъ въ полномъ смыслѣ этого слова» (Ibid., ч. III, стр. 129). Мы еще увидимъ, какую роль сыграло это самосовершенствованіе въ міровоззрѣніи наслѣдниковъ «любомудровъ»—людей тридцатыхъ годовъ.

Начиная съ 1827-го года, «любомудры» попробовали приняться за изданіе журнала («Московскій Вѣстникъ»). Во главѣ этого журнала стояли Веневитиновъ, братья Кирѣевскіе, Одоевскій, Пушкинъ, Погодинъ и Шевыревъ, при чемъ фактически главная работа легла на двухъ послѣднихъ; послѣднее обстоятельство и было одной изъ причинъ быстрого паденія журнала, едва просуществовавшаго четыре года. Къ тому же въ началѣ 1827 года умеръ двадцатидвухлѣтній Веневитиновъ, Кирѣевскіе уѣхали за границу, Одоевскій отдался службѣ—и бывшій кружокъ «любомудровъ» распался навсегда.

Роль «любомудровъ» въ исторіи развитія умственныхъ теченій была сыграна и они сошли со сцены, уступивъ свое мѣсто поколѣнію тридцатыхъ годовъ. Но къ такому утверженію необходимо прибавить значительную поправку. Дѣйствительно, стоитъ только вспомнить тѣ имена, съ которыми мы встрѣтились выше и въ «Обществѣ любомудровъ» и въ «Московскомъ Вѣстникѣ», чтобы сразу увидѣть тѣсную зависимость между умственными теченіями двадцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Братья Кирѣевскіе, Хомяковъ (сотрудничавшій въ «Московскомъ Вѣстникѣ»), Кошелевъ, вѣдь это все такъ называемые «старшіе славянофилы»; кн. Одоевскій въ сороковыхъ годахъ былъ во многихъ отношеніяхъ близокъ къ славянофильству, а Кюхельбекеръ, въ то время уже сосланный декабристъ, недаромъ получилъ впоследствии за свою литературную дѣятельность двадцатыхъ годовъ наименованіе «перваго славянофила». Но не только имена связываютъ «любомудровъ» двадцатыхъ годовъ со славянофилами; ихъ связываетъ еще и общность міровоззрѣнія: старшіе славянофилы остались вѣрны основнымъ началамъ философіи Шеллинга, и на этой почвѣ одно время расходились даже со славянофилами младшаго поколѣнія, временно увлекшимися гегельянствомъ (эпизодъ съ диссертацией К. Аксакова въ самомъ началѣ сороковыхъ годовъ). Младшіе славянофилы вскорѣ отреклись отъ Гегеля и хотя никогда не сдѣлались правовѣрными учениками Шеллинга, но все же несомнѣнно, что славянофильство въ общемъ стояло на почвѣ шеллингианства. Когда въ 1841—2 гг. Шеллингъ началъ читать въ Берлинѣ лекціи, долженствовавшія служить противоядіемъ противъ гегельянства, то московскіе славянофилы радовались этому началу войны съ рационалистическимъ міровоззрѣніемъ. Впоследствии нѣкоторые склонны были даже объяснять вражду между западничествомъ и славянофильствомъ гегельянствомъ перваго и шеллингианствомъ втораго, кореннымъ различіемъ въ міровоззрѣніяхъ шеллингианцевъ двадцатыхъ годовъ и гегельянцевъ тридцатыхъ ¹⁾. Въ этомъ заключена нѣкоторая доля истины, а потому и значеніе шеллингианцевъ двадцатыхъ годовъ въ исторіи русскихъ умственныхъ теченій не должно быть преуменьшаемо историками русской литературы. Рядомъ съ декабристами, составлявшими большинство русской интеллигенціи той эпохи, небольшая группа русскихъ шеллингианцевъ является тѣмъ мостомъ, который соединяетъ двѣ эпохи русской жизни, разъединенныя 1825-мъ годомъ, той нитью,

¹⁾ См. Письмо Шевырева къ И. Аксакову (1862 г.); Колюпановъ, «Біографія А. И. Кошелева», т. I, кн. II, стр. 131.

которая связываетъ меньшинство русской интеллигенціи двадцатыхъ годовъ съ большинствомъ русской интеллигенціи послѣдующаго десятилѣтія.

Люди тридцатыхъ годовъ вступали въ жизнь съ совершенно иными впечатлѣніями, чѣмъ предшествовавшее имъ поколѣніе. Одоевскій, Веневитиновъ, Хомяковъ, Иванъ Кирѣевскій въ возрастѣ десяти-пятнадцати лѣтъ были свидѣтелями того духовнаго подъема, который былъ въ Россіи по окончаніи наполеоновскихъ войнъ; Станкевичъ, Бѣлинскій, Герценъ, Огаревъ въ возрастѣ пятнадцати лѣтъ были свидѣтелями того духовнаго разгрома, который послѣдовалъ послѣ неудачи декабрьскаго возстанія. Правда, Герценъ и Огаревъ иначе реагировали на эти впечатлѣнія, чѣмъ Станкевичъ или Бѣлинскій, но это служить только лишнимъ доказательствомъ того положенія, что нельзя выводить міровоззрѣнія эпохи исключительно изъ условій соціальной жизни и среды. Кружокъ Герцена и Огарева явился прямымъ идейнымъ преемникомъ декабризма какъ въ отношеніи политическихъ идеаловъ, такъ и въ отношеніи зависимости отъ французскихъ соціальныхъ теченій, въ то время какъ кружокъ Станкевича продолжалъ изученіе нѣмецкой философской мысли и въ этомъ отношеніи былъ преемственно связанъ съ московскими «любомудрами» двадцатыхъ годовъ. Эти два кружка рѣзко расходились между собою: членамъ кружка Станкевича, по воспоминаніямъ Герцена, «не нравилось наше почти исключительно политическое направленіе, намъ не нравилось ихъ почти исключительно умозрительное; они считали насъ фрондерами и французами, мы ихъ—сентименталистами и нѣмцами»... Повторилось *mutatis mutandis* взаимоотношеніе между политиками и философами двадцатыхъ годовъ, съ той разницей, что теперь «сентименталисты и нѣмцы» заняли господствующее положеніе: у нихъ было громадное преимущество—возможность выступить съ открытой проповѣдью своихъ воззрѣній. Соціальные условія не породили это философское теченіе тридцатыхъ годовъ, но только создали благоприятную почву для его открытаго развитія. Кружокъ Герцена могъ развиваться только въ подпольѣ и вскорѣ былъ разсѣянъ по лицу земли русской; исторія умственныхъ теченій тридцатыхъ годовъ—это исторія кружка Станкевича.

Станкевичъ, Бакунинъ, Бѣлинскій, Боткинъ, К. Аксаковъ, нѣсколько позднѣ Грановскій и Катковъ, *dii minores* въ родѣ Клюшниковъ и Красова—вотъ главные члены кружка, сыгравшаго такую видную роль въ исторіи развитія умственныхъ теченій тридцатыхъ годовъ. Съ теченіемъ времени нѣкоторые (напримѣръ, К. Аксаковъ)

отдѣлились отъ этого кружка, другіе, наоборотъ, присоединились къ нему (напр., Боткинъ), но это не мѣшало кружку въ продолженіе цѣлаго десятилѣтія быть единымъ цѣлымъ по духу и направленію. Кстати будетъ замѣтить, что никогда этотъ такъ называемый «кружокъ Станкевича» не былъ такимъ сформировавшимся кружкомъ, какимъ было въ свое время «Общество Любомудровъ»; кружокъ Станкевича—это только группа друзей и близкихъ знакомыхъ, соединенная не уставомъ и протоколами засѣданій, а исключительно общностью эстетическихъ, этическихъ и идейныхъ интересовъ. Связующимъ центромъ служило то обаяніе личности Станкевича, которое создало ему положеніе главы кружка, несмотря на то, что его познанія не превышали средняго уровня познаній остальныхъ членовъ группы; въ этомъ отношеніи Станкевичъ—полная противоположность слѣдующему послѣ Станкевича главѣ кружка, Бакунину, который невольно подчинялъ себѣ силой своей отвлеченной мысли, но вовсе не обаяніемъ своей личности. Эти два человѣка стояли во главѣ русскаго умственнаго теченія тридцатыхъ годовъ: первая половина этой эпохи (до 1835—6 гг.) отмѣчена вліяніемъ Станкевича, вторая половина—вліяніемъ Бакунина.

«Огромная субстанція»—такъ однажды охарактеризовалъ Станкевича Бѣлинскій; и какъ ни курьезно подобное выраженіе, но оно достаточно ясно показываетъ, какого мнѣнія о Станкевичѣ были его друзья. Какъ и въ чемъ проявила бы себя эта огромная субстанція, мы этого не знаемъ: Станкевичъ, подобно Веневитинову, умеръ молодымъ, на порогѣ вступленія въ дѣйствительную жизнь; послѣ него осталось только десятка четыре стихотвореній (очень слабыхъ), дѣтская трагедія («Василій Шуйскій»), два-три прозаическихъ отрывка... Литературная цѣнность всего этого крайне невелика, значеніе же для характеристики самого Станкевича громадно; еще большее значеніе для пониманія теченій тридцатыхъ годовъ имѣетъ переписка Станкевича, изданная вскорѣ послѣ его смерти. Изъ ряда писемъ Станкевича мы видимъ, какъ мало-по-малу развивалось въ его кружкѣ изученіе философскихъ вопросовъ и въ какой преемственной связи находились умственные теченія тридцатыхъ и двадцатыхъ годовъ.

Связь эта была самая непосредственная уже по одному тому, что ближайшимъ учителемъ Станкевича былъ тотъ же проф. М. Г. Павловъ, который десятью годами ранѣе былъ наставникомъ Веневитинова; Станкевичъ жилъ у Павлова съ 1830 до 1833 года, слушая одновременно и его лекціи по физикѣ, т.-е., иначе говоря, проходя курсъ шеллингянства. Въ письмахъ 1833 года у Станкевича попа-

даются выраженія, указывающія на знакомство съ «любомудрами» (Веневитиновымъ, Кирѣевскимъ, Одоевскимъ); а иногда и на согласіе съ ихъ взглядами; такъ, напримѣръ, по вопросу о поэтическомъ творчествѣ Станкевичъ заявляетъ: «я согласенъ съ Одоевскимъ» (письмо къ Невѣрову отъ 24-го іюля 1833 г.). А согласіе съ Одоевскимъ въ данномъ случаѣ было согласіемъ съ романтической теоріей искусства, съ шеллингянскою эстетикой; точкой соприкосновенія «любомудровъ» двадцатыхъ годовъ и кружка Станкевича было именно искусство и шеллингянская точка зрѣнія на него. Эстетика была тѣмъ краеугольнымъ камнемъ, съ котораго, подъ знакомъ шеллингянства, началась постройка міровоззрѣнія людей тридцатыхъ годовъ; они пришли затѣмъ къ фихтианской этикѣ и гегельянской логикѣ—и, такимъ образомъ, «красота», «правда» и «истина» завершили собою полный кругъ развитія умственныхъ теченій тридцатыхъ годовъ. Въ первой стадіи этого развитія отразилось сильное вліяніе Станкевича, шеллингянская эстетика котораго раздѣлялась и Бѣлинскимъ въ его первыхъ статьяхъ.

«Искусство дѣлается для меня божествомъ, и я твержу одно: дружба (или любовь—последняя родъ, первая лучшей изъ видовъ и священнѣйшій) и искусство. Вотъ міръ, въ которомъ человѣкъ долженъ жить, если не хочетъ стать на ряду съ животными! вотъ благородная сфера, въ которой онъ долженъ поселиться, чтобы быть достойнымъ себя!»—такъ говоритъ Станкевичъ въ одномъ изъ своихъ писемъ (отъ 18-го мая 1833 г.). О любви и ея значеніи [у людей тридцатыхъ годовъ мы говорить не будемъ, такъ какъ вопросъ этотъ съ достаточной подробностью разработанъ П. Милюковымъ въ его очеркахъ «Любовь у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ» и такъ какъ, во-вторыхъ, насъ здѣсь интересуетъ, главнымъ образомъ, исторія умственныхъ теченій этой эпохи; но нельзя не замѣтить, что вышеприведенная постановка вопроса—главенство чувства и искусства—вполнѣ характеризуетъ собою тридцатые годы и особенно первую ихъ половину. Въ другомъ своемъ письмѣ (отъ 19-го іюня 1833 года Станкевичъ предлагаетъ своему другу «ограничиться (въ ихъ перепискѣ) чувствомъ и искусствомъ: мы живемъ въ этихъ двухъ мірахъ, до другихъ міровъ намъ съ тобою дѣла нѣтъ»... Въ этихъ словахъ—цѣлая программа русскаго шеллингянства тридцатыхъ годовъ, отразившаяся и въ литературѣ черезъ посредство статей Бѣлинскаго (перваго періода его дѣятельности).

Итакъ, тридцатые годы начали съ шеллингянства. Въ томъ самомъ году, когда тихою смертью умиралъ «Московскій Вѣстникъ»—последнее литературное дѣтище «любомудровъ»—въ Москвѣ появился

Станкевичъ (1830 г.), годомъ раньше—Бѣлинскій, годомъ позже въ университетъ поступилъ К. Аксаковъ; въ 1831 году всѣ они уже были знакомы другъ съ другомъ, и въ тѣсномъ студенческомъ кружкѣ снова началась разработка міровыхъ вопросовъ, началось «передумываніе и перечувствованіе умственной жизни Европы, по знакомымъ намъ уже словамъ Бѣлинскаго. Мы видѣли только-что, что въ началѣ это было скорѣе перечувствованіе, чѣмъ передумываніе; романтическая эстетика Шеллинга была не столько воспринята, сколько просто принята русскими шеллингианцами тридцатыхъ годовъ. Однако, уже въ началѣ 1833 года Станкевичъ пишетъ своему другу (Невѣрову) рядъ писемъ философскаго характера, озаглавливая ихъ «Моя метафизика» (два письма написано, третье начато), въ которыхъ варьируютъ основоположенія не только шеллингианской эстетики, но и системы трансцендентальнаго идеализма въ ея цѣломъ. Природа есть постоянное само-рожденіе, «жизнь природы есть непрерывное творчество», а индивидуумъ есть концентрація общей жизни природы—съ такого повторенія знакомыхъ намъ положеній Шеллинга начинается Станкевичъ эти свои философскія письма. Эта природа и эта жизнь въ цѣломъ есть Разумѣніе: «все (das All) есть жизнь, а жизнь дѣйствуетъ разумно, слѣдовательно сопряжена съ Разумѣніемъ»... По законамъ этого Разумѣнія развивается вся жизнь, при чемъ «роды существъ составляютъ лѣствицу, по которой жизнь, разумѣющая себя въ цѣломъ, идетъ къ самоуразумѣнію въ недѣлимыхъ»... Послѣдней ступеню такой лѣстницы является человекъ, въ которомъ «жизнь, разумѣющая себя въ цѣломъ, уразумѣла себя отдѣльно»... «Онъ есть центръ этой жизни въ миниатюрѣ». Какъ видимъ, все это является только перефразировкой приведенныхъ нами выше основныхъ положеній философіи Шеллинга; но любопытно видѣть, къ чему приходитъ въ концѣ концовъ Станкевичъ: онъ приходитъ снова къ провозглашенію примата чувства. Заявивъ, что жизнь есть разумѣніе (познаваніе), дѣйствованіе и чувствованіе, Станкевичъ продолжаетъ: «если жизнь есть разумъ, если жизнь есть воля, то она есть чувство по преимуществу. Вся она держится чувствомъ—въ недѣлимыхъ, начавшихъ сознавать себя отдѣльно, чувство это обнаруживается любовью... Любовь!.. для меня съ этимъ словомъ разгадана тайна жизни. Жизнь есть любовь»... (Станкевичъ, «Собр. соч.», стр. 149—155; ср. «Переписка», стр. 17—24). О значеніи любви для идеалистовъ тридцатыхъ годовъ мы уже упоминали выше; здѣсь важнѣе подчеркнуть еще разъ тотъ приматъ чувства, который такъ характеренъ для всего поколѣнія Станкевича и его друзей.

Наиболѣе яркимъ выразителемъ всѣхъ этихъ идей кружка явился, какъ извѣстно, Бѣлинскій, о которомъ подробно мы будемъ говорить въ слѣдующей главѣ. Соединяя въ себѣ тонкую философскую организацію (по выраженію о немъ кн. В. Одоевскаго) съ пылкимъ, неистовымъ «чувствомъ», съ пронизательнымъ критическимъ взглядомъ и съ большою эрудиціей въ области исторіи русской литературы, онъ былъ созданъ для того, чтобы сдѣлаться величайшимъ русскимъ критикомъ. Примаъ чувства, провозглашавшійся Станкевичемъ, былъ съ тѣмъ большей силой выставленъ Бѣлинскимъ, что послѣдній отъ природы былъ, по собственному выраженію, «дико-страстной натурой», за что и заслужилъ отъ своихъ друзей наименованіе неистоваго «Bessarione furioso». По выраженію Герцена, Бѣлинскій былъ «человѣкомъ экстремы», никогда не останавливавшимся посрединѣ пути при рѣшеніи проклятыхъ вопросовъ; онъ всегда шелъ напроломъ до крайняго вывода «и не блѣднѣлъ ни передъ какимъ послѣдствіемъ» («Былое и думы», гл. XXV). Недаромъ одинъ изъ членовъ кружка Станкевича, Ключниковъ, охарактеризовалъ Бѣлинскаго шуточнымъ четверостишіемъ.

Аполлонъ мой, Аполлонъ,
 Аполлонъ мой Бельведерскій!
 Виссарьонъ мой, Виссарьонъ,
 Виссарьонъ мой вельми дерзкій!

Этому «вельми-дерзкому» и «дико-страстному Bessarione furioso» выпало на долю быть яркимъ выразителемъ умственныхъ теченій тридцатыхъ (и сороковыхъ) годовъ; въ первую половину тридцатыхъ годовъ онъ шелъ рука объ руку со Станкевичемъ, былъ апологетомъ «чувства» и утверждалъ, что чувство и искусство—міръ, въ которомъ долженъ жить человѣкъ. Въ своихъ «Литературныхъ мечтаніяхъ» (1834 г.) Бѣлинскій базировался на той самой романтической теоріи искусства, которая была принята еще «любомудрами» двадцатыхъ годовъ и которая перешла по наслѣдству и въ кружокъ Станкевича. Если мы вспомнимъ приведенныя выше основоположенія шеллингянской эстетики, то сразу увидимъ родство съ ними утвержденій Бѣлинскаго, что міръ есть проявленіе въ безчисленныхъ формахъ единой абсолютной идеи, что «поэтическое одушевленіе есть отблескъ творящей силы природы» (Шеллингъ говорилъ о поэтическомъ творествѣ, какъ о завершеніи творящей силы природы), что воспроизведеніе этой творящей силы—единая цѣль искусства. Шеллингянская эстетика всецѣло принималась, какъ видимъ, Бѣлинскимъ; повидимому къ этому времени онъ воспринялъ и ту шеллингянскую «метафизику», которую

Станкевичъ излагалъ въ своихъ письмахъ за полтора года до этого (по крайней мѣрѣ такъ заставляетъ думать слѣдующее мѣсто изъ письма Станкевича къ Бѣлинскому отъ 30-го октября 1834 г.: «...не знаю, радоваться ли твоему обращенію. Новая система, вѣроятно, удовлетворитъ тебя не болѣе старой...»). Несомнѣнно, однако, что, воспринявъ такимъ образомъ шеллингянство изъ кружка Станкевича, Бѣлинскій хорошо видѣлъ, насколько не хватаетъ всему этому русскому шеллингянству твердой опоры—упорнаго и настойчиваго изученія тѣхъ философскихъ системъ, которыя слишкомъ поверхностно принимались людьми тридцатыхъ годовъ: «Мы обо всемъ пересудили, обо всемъ переспорили, все усвоили себѣ, ничего не возрадивши, не взлелѣявши, не создавши сами», слышали мы уже отъ Бѣлинскаго. И нѣтъ никакого сомнѣнія, что призывъ къ «ученью», заканчивающій собою «Литературныя мечтанія», былъ направленъ Бѣлинскимъ не только ко всей массѣ русскаго общества, но и къ тому кружку, членомъ котораго онъ состоялъ. «...Новое поколѣніе,—пишетъ Бѣлинскій,—вмѣсто того чтобы выдавать въ свѣтъ недозрѣлыя творенія, съ жадностью предаются изученію наукъ и черпаютъ живую воду просвѣщенія въ самомъ источникѣ»... Теперь намъ нужно ученье! ученье! ученье!..» И тридцатые годы стали, дѣйствительно, эпохой упорнаго, настойчиваго и кропотливаго изученія тѣхъ источниковъ, въ которыхъ въ то время можно было искать живую воду просвѣщенія.

Начало положилъ Станкевичъ, принявшійся за упорное изученіе первоисточниковъ нѣмецкой философіи. «Не знаю, достанетъ ли у меня терпѣнія и силъ,—писалъ онъ,—а я займусь ею (философіею). Скучны формы, въ которыя она заключена, но мы потерпимъ за будущее поколѣніе и, быть можетъ, съ Божьей помощью облегчимъ трудъ его» (отъ 10-го ноября 1835 г.). Эти слова явились программой дѣйствій Станкевича; немедленно по окончаніи университета онъ снова принимается за Шеллинга, желая изученіемъ философіи очистить путь для научнаго пониманія исторіи, которая привлекательна для Станкевича, какъ «огромная задача философская». Но исторія вскорѣ отошла для него на второй планъ, и Станкевичъ рѣшительно углубляется въ философію. Мы вкратцѣ отмѣтимъ главнѣйшіе этапы его развитія, такъ какъ они характерны не только для одного его, но и для исторіи умственныхъ теченій тридцатыхъ годовъ. Станкевичъ началъ, какъ мы сказали, съ детальнаго изученія философіи Шеллинга; недовольный своими поверхностными познаніями, Станкевичъ, по окончаніи университета, берется за «Систему трансцендентальнаго идеализма» и изучаетъ ее вплотную. Прочтя эту книгу въ сентябрѣ 1834 года, онъ

пишетъ: «Я понялъ цѣлое ея строеніе, тѣмъ болѣе, что оно было мнѣ напередъ довольно извѣстно; но плохо понимаю *цементъ*, которымъ связаны различныя части этого зданія, и тѣперь разбираю его понемногу»... Черезъ мѣсяцъ онъ сообщаетъ, что читаетъ «Систему» Шеллинга во второй разъ: «Теперь я гораздо болѣе понимаю Шеллинга, нежели въ первый разъ,—прибавляетъ Станкевичъ,—хотя и потѣю иногда»... Еще черезъ мѣсяцъ онъ пишетъ, что Шеллинга «кончилъ и отложилъ надолго, очень надолго...»; однако не прошло и полугода, какъ онъ сообщаетъ: «Съ Ключниковымъ мы читаемъ одинъ разъ въ недѣлю Шеллинга... Надобно еще изучить получше Шеллинга»... (письма къ Невѣрову отъ 19-го сентября, 16-го октября, 20-го ноября 1834 г. и 28-го марта 1835 г.). Это кропотливое изученіе философіи Шеллинга привело Станкевича къ сознанию необходимости предварительнаго изученія Канта, который, какъ мы знаемъ, былъ распространенъ среди русской интеллигенціи десятихъ годовъ, но былъ вытѣсненъ Шеллингомъ въ слѣдующемъ десятилѣтіи. «Теперь мы съ Ключниковымъ принялись за Канта,—пишетъ Станкевичъ въ ноябрѣ 1835 г.;—мы съ нимъ читали Шеллинга, и если не поняли вполнѣ его хода, его діалектики, то постигнули основныя идеи, сущность системы. Чтобы возвести свое горячее убѣжденіе на степень знанія, надобно хорошенько изучить основаніе, на которомъ утверждается новая нѣмецкая философія. Это основаніе—система Канта»... И Станкевичъ съ друзьями усердно принялся за изученіе Канта; къ этому времени относится, отмѣтимъ кстати, дружба Станкевича съ Бакунинымъ, котораго Станкевичъ «засадилъ за философію» и который «по Канту... выучился по-нѣмецки» («Былое и думы», гл. XXV). «Пришли мнѣ, другъ, два экземпляра «Критики чистаго разума» Канта,—пишетъ Станкевичъ въ началѣ ноября 1835 г.—одинъ мнѣ, другой Ключникову. Пожалуйста, поскорѣе! Свою я отослалъ къ Мишелю (Бакунину)»... Мѣсяцемъ позже онъ проситъ своего друга прислать ему двухтомную монографію Виллера «Philosophie de Kant» и жалуется, что у него «нѣтъ человѣка, который бы могъ объяснить мнѣ темное въ Кантѣ»; изъ того же письма можно видѣть, что такимъ «темнымъ» мѣстомъ въ «Критикѣ чистаго разума» былъ для Станкевича отдѣлъ дедукціи категорій. Но система Канта была или слишкомъ трудна, или слишкомъ суха для идеалистовъ тридцатыхъ годовъ: занявшись съ полгода «Критикой чистаго разума», Станкевичъ откровенно признается: «Хочется ее поскорѣи окончить, чтобы заниматься чѣмъ-нибудь болѣе отраднымъ. Эту ступень надо перейти»... (письма къ Невѣрову отъ 4-го, 10-го ноября, 2-го декабря 1835 г. и

16-го марта 1836 г.). Такимъ образомъ, въ исторіи русскаго идейнаго развитія тридцатыхъ годовъ Кантъ сыгралъ только роль промежуточнаго звена между Шеллингомъ и Фихте; отъ Канта спѣшили скорѣе отдѣлаться, чтобы перейти къ системамъ, болѣе отвѣчающимъ характеру и настроенію идеалистовъ тридцатыхъ годовъ. Только-что окончивъ «Критику чистаго разума» Канта, Станкевичъ и Бакунинъ принимаютъ за изученіе философіи Фихте: лѣто 1836 г. Бакунинъ проводитъ вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ, «втаскивая» послѣдняго въ фиктианскую отвлеченность», по выраженію самого Bessarione furioso; это же лѣто Станкевичъ проводитъ на Кавказѣ и дорогою туда знакомится съ Vorlesungen über die Bestimmung des Menschen» Фихте. Субъективный идеализмъ Фихте перевернулъ вверхъ дномъ всѣ философскія воззрѣнія друзей; чтеніе Фихте «произвело мнѣ такой сумбуръ въ головѣ,— признается Станкевичъ,—возможность котораго я и не подозрѣвалъ»... И эта возможность снова заставляетъ Станкевича повторить призывъ Бѣлинскаго къ «ученью»: «Теперь уже нельзя остановиться, теперь—впередъ! Нѣтъ! Знанія! Возможно отчетливаго знанія!» (письмо къ Невѣрову отъ 21-го апрѣля 1836 г.). Изъ Фихте я уже провижу возможность другой системы», заканчиваетъ Станкевичъ; и въ этомъ случаѣ онъ предугадалъ ходъ русскаго умственнаго развитія той эпохи, для котораго Фихте, подобно Канту, оказался промежуточной ступенью между Шеллингомъ и Гегелемъ.

Періодъ фиктианства былъ крайне непродолжительнымъ въ исторіи русской общественной мысли тридцатыхъ годовъ, незначительно было и отраженіе фиктианства въ статьяхъ Бѣлинскаго. Въ философіи Шеллинга люди тридцатыхъ годовъ нашли отвѣтъ на свои эстетическіе запросы, въ философіи Фихте они хотѣли найти рѣшеніе этическихъ проблемъ. Конечно, теорія познанія Фихте произвела нѣкоторый «сумбуръ въ головахъ» такихъ людей, какъ Станкевичъ и Бѣлинскій: признаніе Станкевича мы слышали, извѣстно подобное же признаніе Бѣлинскаго (въ письмѣ къ Бакунину отъ 21-го ноября 1837 г.); но главное вниманіе друзей было обращено не на фиктианскую теорію познанія, а на фиктианскую этику. И въ этомъ кратковременномъ періодѣ фиктианства люди тридцатыхъ годовъ передумывали, главнымъ образомъ, этические вопросы: о «жизни въ духѣ», о такъ называемомъ состояніи «благодати», о нравственной точкѣ зрѣнія, о «внѣшней жизни» и «жизни абсолютной» и т. п. (Почти вся эта терминологія—изобрѣтеніе Бакунина; она характеризуетъ собою русское фиктианство). Станкевичъ стоялъ въ сторонѣ отъ этого фиктианства: онъ уже собирался въ это время ѣхать въ Берлинъ

для изученія философіи Гегеля; Бакунинъ и Бѣлинскій были главными выразителями этого теченія середины тридцатыхъ годовъ. Этотъ періодъ фихтианства дѣлится тридцатые годы на двѣ части: первая половина тридцатыхъ годовъ ознаменована шеллингианствомъ и духавной гегемоніей Станкевича; вторая половина характеризуется гегельянствомъ и идейнымъ главенствомъ Бакунина. Посрединѣ стоитъ короткій періодъ фихтианства, продолжавшійся около года—съ середины 1836 до осени 1837 года—и явившійся во всѣхъ отношеніяхъ періодомъ переходнымъ. Бѣлинскій впоследствии весьма отрицательно относился къ этому періоду своего развитія, къ этимъ поискамъ путей для рѣшенія вѣчнаго вопроса «какъ жить свято?» (впоследствии основного вопроса «кающихся дворянъ»): «Боже мой, какая это была жизнь!—вспоминалъ Бѣлинскій нѣсколько лѣтъ спустя (въ письмѣ къ Станкевичу отъ 19-го апрѣля 1839 г.).—Нравственная точка зрѣнія погубила-было для меня весь цвѣтъ жизни, всю ея поэзію и прелесть!» Вся жизнь Бѣлинскаго въ этотъ періодъ фихтианства уходила на детальный самоанализъ, на мучительное «рефлектированіе», на стремленіе достигнуть состоянія «благодати» и зажечь «внутренней жизнью»; въ этомъ и состояла та «фихтианская отвлеченность», которая, подъ угломъ зрѣнія Бакунина, привела Бѣлинскаго къ убѣжденію, что «идеальная-то жизнь (т.-е. «внутренняя жизнь», жизнь въ духѣ,—И.-Р.) есть именно жизнь дѣйствительная, положительная, конкретная, а такъ называемая дѣйствительная жизнь есть отрицаніе, призракъ, ничтожество, пустота»... Субъективно-нравственная точка зрѣнія, страшная идея долга, абстрактный героизмъ, прекраснодушная война съ дѣйствительностью—такъ впоследствии самъ Бѣлинскій характеризовалъ главные пункты фихтианскаго символа вѣры 1836—7 годовъ. Онъ успѣлъ ихъ затронуть мимоходомъ въ статьѣ про книгу «Опытъ системы нравственной философіи»—чуть ли не единственной статьѣ, отразившей взгляды русскаго фихтианства, которое, какъ видно изъ всего изложеннаго, гораздо дальше отстояло отъ Фихте, чѣмъ русское шеллингианство отъ Шеллинга: то, что Бѣлинскій называлъ «фихтианскимъ взглядомъ», имѣло въ сущности очень мало точекъ соприкосновенія съ философіей Фихте. Но этотъ «фихтианскій взглядъ» и удержался недолго: мы уже сказали, что онъ былъ только промежуточной ступенью между шеллингианствомъ первой половины и гегельянствомъ второй половины тридцатыхъ годовъ.

Первымъ за Гегеля взялся Станкевичъ. «Гегеля я еще не знаю», пишетъ Станкевичъ послѣ изученія Шеллинга и Канта; а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ сообщаетъ: «Жду Гегеля изъ Риги»... (письма

къ Невѣрову отъ 10-го ноября 1835 г. и 16-го марта 1836 г.). Въ это же время Станкевичъ переводитъ большую статью Вильма «Опытъ о философіи Гегеля», напечатанную въ «Телескопѣ» 1835 г., а въ концѣ 1837 года ѣдетъ въ Берлинъ и упорно изучаетъ тамъ «Логику» Гегеля; еще до своего пріѣзда въ Берлинъ онъ шутливо пишетъ своему другу: «Поцѣлуй ручку у Грановскаго и погладь его по головѣ за то, что онъ занимается дѣломъ и начинаетъ признавать достоинство Егора Ѳедоровича Гегелева»—(письмо къ Невѣрову отъ 24-го сентября 1837 г.; Невѣровъ и Грановскій были въ это время въ Берлинѣ). Черезъ Станкевича познакомился съ Гегелемъ и Бакунинъ, впервые «просмотрѣвшій» лѣтомъ 1837 года «Философію права» Гегеля. Съ этого времени идейная гегемонія переходитъ къ Бакунину: Станкевичъ уже не вернулся изъ-за границы.

«Пріѣзжаю въ Москву съ Кавказа (осенью 1837 года;—И. Р.),—разсказывалъ впослѣдствіи Бѣлинскій, — пріѣзжаетъ Бакунинъ, мы живемъ вмѣстѣ. Лѣтомъ просмотрѣлъ онъ философію религіи и права Гегеля. Новый міръ намъ открылся»... (письмо къ Станкевичу, сентябрь—октябрь 1839 г.). Въ это же время Катковъ познакомился съ «Эстетикой» Гегеля и подѣлился новыми свѣдѣніями съ Бѣлинскимъ. «Боже мой!—воскликаетъ послѣдній: —какой новый, свѣтлый, безконечный міръ!» Преодолевъ философію права и эстетику Гегеля, друзья Бѣлинскаго добрались и до его «Логики», въ которой увидали окончательный путь къ истинѣ; если Шеллингъ далъ имъ твердую опору для эстетики, а Фихте былъ исходнымъ пунктомъ ихъ этики, то Гегель сталъ ихъ руководителемъ въ области «логики», въ области отысканія истинныхъ теоретико-познавательныхъ нормъ. Какъ упорно и настойчиво русскіе гегельянцы добивались полнаго уразумѣнія всей системы Гегеля, это видно хотя бы изъ того извѣстнаго мѣста «Былого и думъ», которое посвящено характеристикѣ русскихъ гегельянцевъ конца тридцатыхъ годовъ. Герценъ вспоминаетъ, что члены кружка Станкевича безпрестанно толковали о феноменологіи и логикѣ Гегеля, что «нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ логики, въ двухъ эстетики, энциклопедіи и пр., который бы не былъ взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей», «что всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нѣсколько дней»... (гл. XXV). Мы не имѣемъ возможности остановиться здѣсь на сравненіи философіи Гегеля съ ея отраженіемъ въ головахъ русскихъ гегельянцевъ; но во всякомъ случаѣ несомнѣнно,

что отраженіе это было крайне своеобразнымъ. Саморазвивающаяся идея, ступени ея развитія (тезисъ, антитезисъ, синтезисъ), проявленіе ея конкретной дѣйствительности — всѣ эти и имъ подобныя формы были усвоены русскимъ гегельянствомъ, но очень часто въ эти формы вкладывалось совершенно своеобразное содержаніе. Достаточно указать на то, что центральнымъ пунктомъ русскаго гегельянства стало знаменитое, съ легкой руки Бакунина и Бѣлинскаго, положеніе: «что дѣйствительно, то разумно и что разумно, то дѣйствительно»: — положеніе второстепенное по своему значенію въ философской системѣ Гегеля. Къ тому же и это положеніе было понято Бакунинымъ и Бѣлинскимъ въ двухъ совершенно различныхъ смыслахъ: для Бакунина «разумная дѣйствительность» была адекватнымъ выраженіемъ въ терминахъ гегельянства «внутренней жизни» по прежней фихтианской терминологіи, въ то время какъ Бѣлинскій подъ «разумной дѣйствительностью» сталъ понимать дѣйствительность реальную. Это пониманіе Бѣлинскаго въ высшей степени важно, какъ показатель начала конца эпохи русскаго философскаго романтизма; переходомъ отъ идеализма къ реализму закончилась эпоха тридцатыхъ годовъ.

Органомъ русскаго гегельянства былъ журналъ Бѣлинскаго и Бакунина «Московскій Наблюдатель», издававшійся ими около года (1838—1839 г.). Въ журналѣ этомъ Бакунинъ помѣстилъ переводъ «Гимназическихъ рѣчей» Гегеля, со своимъ крайне интереснымъ для исторіи русскаго гегельянства предисловіемъ, въ которомъ рѣзко осуждается Фихте за «разрушеніе всякой объективности, всякой дѣйствительности», за «погруженіе отвлеченнаго пустого Я въ самолюбивое, эгоистическое самосозерцаніе»... Это выставленіе на первый планъ объективности и дѣйствительности вскорѣ довелъ до послѣднихъ логическихъ предѣловъ «вельми дерзкій Виссаріонъ» въ рядѣ статей, помѣщенныхъ уже въ «Отечественныхъ Запискахъ» (1839—1840 гг.). Мы не будемъ подробно останавливаться на исторіи преклоненія Бѣлинскаго передъ разумной дѣйствительностью, такъ какъ здѣсь мы отмѣчаемъ только въ общихъ чертахъ основныя умственныя теченія эпохи тридцатыхъ годовъ и такъ какъ Бѣлинскому ниже посвящена особая глава; отмѣтимъ здѣсь только, что свое преклоненіе и передъ объективностью и передъ всякой дѣйствительностью Бѣлинскій, какъ «человѣкъ экстремы», довелъ до послѣдняго предѣла. Отсюда его яростныя нападки на Шиллера, какъ на «субъективнаго» поэта, отсюда его благоговѣніе передъ «разумностью» самыхъ темныхъ сторонъ русской общественной жизни. Что касается борьбы Бѣлинскаго съ «субъективностью», то онъ только довелъ до логи-

ческаго конца отмѣченныя выше нападки Бакунина на Фихте за его «разрушеніе всякой объективности». «Бакунинъ провозгласилъ, — рассказывалъ нѣсколько позднѣ Бѣлинскій, — что истина только въ объективности и что въ поэзіи субъективность есть отрицаніе поэзіи, что безконечнаго должно искать въ каждой точкѣ, что въ искусствѣ оно открывается черезъ форму, а не черезъ содержаніе, потому что само содержаніе высказывается черезъ форму, а гдѣ наоборотъ, тамъ нѣтъ искусства. Я осwirѣпль, опьянѣлъ отъ этихъ идей, и неистовыя проклятія посыпались на благороднаго адвоката чelовѣчества у людей — Шиллера. Учитель мой возмущился духомъ, увидѣвъ слишкомъ скорые и слишкомъ обильные и сочные плоды своего ученія, хотѣлъ меня остановить, но поздно: я уже сорвался съ цѣпи и побѣждалъ благимъ матомъ»... То же самое повторилось и въ вопросѣ о «дѣйствительности»... Бѣлинскій пошелъ дальше кого бы то ни было изъ своихъ друзей въ признаніи разумности всего окружающаго «и не блѣднѣлъ ни передъ какимъ послѣдствіемъ», говоря словами Герцена. Признаніе «разумности» всего окружающаго было для Бѣлинскаго давно желаннымъ выходомъ изъ «фихтианской отвлеченности»; мы уже указывали, что Бѣлинскій, тоже вопреки Бакунину, нашелъ этотъ выходъ въ отождествленіи «дѣйствительности» съ окружающей его реальностью. Бакунинъ и въ этомъ случаѣ хотѣлъ остановить Бѣлинскаго, но поздно: Бѣлинскій «сорвался съ цѣпи и побѣждалъ благимъ матомъ» въ своихъ знаменитыхъ статьяхъ о Менцелѣ и «Бородинской годовщинѣ»; въ концѣ концовъ даже Бакунинъ склонился къ точкѣ зрѣнія Бѣлинскаго, какъ это видно изъ воспоминаній Герцена. Умирающій Станкевичъ удивлялся такимъ понятіямъ своего кружка, находя ихъ «неутѣшительными». «Что имъ (Бѣлинскому и его друзьямъ) дался Шиллеръ? что за ненависть? — писалъ въ началѣ 1840 года Станкевичъ Грановскому; — такъ какъ они не понимаютъ, что такое «дѣйствительность», то я думаю, что они уважаютъ слово, сказанное Гегелемъ. А если авторитетъ его силенъ у нихъ, то пусть прочтутъ, что онъ говоритъ о Шиллерѣ... А о дѣйствительности пусть прочтутъ въ «Логикѣ», что дѣйствительность въ смыслѣ непосредственности внѣшняго бытія есть случайность; что дѣйствительность, въ ея истинѣ, есть *Разумъ*, Духъ»... это было совершенно вѣрно, но слова Станкевича дошли до Бѣлинскаго уже тогда, когда самъ онъ начиналъ стыдиться своихъ мнѣній о Шиллерѣ и своихъ статей съ восхваленіемъ окружающей дѣйствительности; въ 1840—1841 гг. Бѣлинскій окончательно «раскланялся»

съ «Егоромъ Ѳедорычемъ» и отъ нѣмецкой «умозрительности» повернулъ къ французской «соціальности».

Поворотъ этотъ—громадной важности для исторіи умственныхъ теченій той эпохи; имъ заканчивается періодъ вліянія нѣмецкой философіи на русскую мысль первой половины XIX вѣка. Почти сорокъ лѣтъ преемственно продолжалось это вліяніе, начиная съ Велланскаго, продолжая Павловымъ и «любомудрами» двадцатыхъ годовъ, кончая Станкевичемъ, Бакунинымъ и Бѣлинскимъ; и интересно, что въ то время, когда люди тридцатыхъ годовъ, въ лицѣ Бѣлинскаго, окончательно разрывали свою связь по существу съ нѣмецкой философіей, маститый Велланскій продолжалъ чтеніе своихъ лекцій съ проповѣдью шеллингянства. Эти преданья старины глубокой были давно пройденной ступенію для членовъ кружка Станкевича, которые къ началу сороковыхъ годовъ уже разрывали съ Гегелемъ, и хотя отдѣльные послѣдователи шеллингянства и гегельянства сохранились въ русскомъ обществѣ еще на много времени, но они уже не были представителями опредѣленныхъ группъ, выразителями умственныхъ теченій той или иной части интеллигенціи. Въ этомъ отношеніи 1840—1841 г. является рубежомъ, поворотнымъ пунктомъ въ исторіи умственныхъ теченій первой половины девятнадцатаго вѣка. Разрывъ Бѣлинскаго съ нѣмецкой философіей, его обращеніе къ общественнымъ темамъ и къ французскому соціализму, его «западничество»—съ этого начались сороковые годы. Къ этому же времени относится и окончательное сформированіе славянофильства, связь котораго съ «любомудрами» двадцатыхъ годовъ мы уже подчеркивали выше; и хотя славянофильство продолжало базироваться на почвѣ шеллингянства, но чѣмъ дальше, тѣмъ больше шеллингянство это вытѣснялось въ славянофильствѣ «православно-словенской» философіей Кирѣевскаго и Хомякова. Западничество же Бѣлинскаго и его друзей сохранило, и то отчасти, только формы нѣмецкой философіи, только гегельянскую терминологію, заполняя эти формы общественнымъ содержаніемъ. На этой почвѣ совершилось сліяніе распавшагося кружка Станкевича съ тѣмъ кружкомъ Герцена и Огарева, о которомъ у насъ была рѣчь выше и знакомствомъ съ которымъ мы закончимъ изученіе умственныхъ и общественныхъ теченій тридцатыхъ годовъ.

«Умозрительное теченіе, съ которымъ мы знакомились выше, шло въ русской жизни рядомъ съ теченіемъ «политическимъ», при чемъ послѣднее главенствовало надъ первымъ въ теченіе первой четверти XIX вѣка: Велланскій, Павловъ, «любомудры» и прочіе сторонники нѣмецкой «умозрительной философіи» были совсѣмъ въ тѣни

передъ типичными представителями двадцатыхъ годовъ—декабристами, сторонниками французской рационалистической и сенсуалистической философіи и типичными политическими борцами. Въ тридцатыхъ годахъ положеніе совершенно измѣнилось по внутреннимъ и внѣшнимъ причинамъ. Съ одной стороны, нѣмецкая философія мало-помалу просачивалась въ русское общество путёмъ нѣмецкой поэзіи; въ этомъ отношеніи Шиллеръ по своему вліянію на русскую мысль былъ могущественнѣе Шеллинга. Къ началу тридцатыхъ годовъ это вліяніе нѣмецкой поэзіи и философіи было уже настолько замѣтнымъ, что въ журналахъ того времени на всѣ лады комментировалась эта побѣда нѣмцевъ надъ французами:

Давно ли въ шелковыхъ чулкахъ
И въ пудрѣ щеголя-француза,
Съ лорнетомъ, въ лентахъ, кружевахъ
Разгуливала наша муза?
Но русской барышнѣ пріѣлась старина:
Все то же платье, та же лента;
И нынѣ—ходитъ ужъ она
Въ плащѣ нѣмецкаго студента...

Завязавшаяся у насъ въ двадцатыхъ годахъ борьба французскаго «классицизма» съ нѣмецкимъ «романтизмомъ» быстро закончилась поражениемъ перваго; романтизмъ же, перейдя черезъ различныя фазы развитія, сталъ изъ литературнаго философскимъ,—его исторію мы изложили выше. Эти внутреннія причины способствовали перемѣщенію центра тяжести отъ французской «политики» къ нѣмецкому «умозрѣнію»; но это только съ одной стороны. Съ другой—большую роль въ этомъ перемѣщеніи сыграли причины внѣшнія, т.-е. событія 1825—6 г. и начало «моровой полосы» царствованія Николая I: мы уже отмѣтили выше, что эти внѣшнія причины способствовали развитію философскихъ теченій тридцатыхъ годовъ и уничтоженію всѣхъ ростковъ общественности. Не только братья Критскіе ссылались (1827 г.) въ Шлиссельбургъ и Соловки за «дѣтскій либерализмъ», за пустѣйшіе разговоры и мальчишескія выходки, но правительство преслѣдовало даже какое-нибудь невиннѣйшее «Общество литературныхъ преній», стремящееся къ «распространенію умственныхъ удовольствій» (1837 г.), на засѣданіяхъ котораго затрагивались такія опасныя темы, какъ, на примѣръ: «должно ли предпочитать супружество холостой жизни?», или «четыре опыта о временахъ года». Эпоха николаевскаго режима, впрочемъ, уже слишкомъ извѣстна намъ изъ предыдущей главы, чтобы нуждаться въ новыхъ иллюстра-

ційхъ; достаточно извѣстно и то, что режимъ этотъ не только не искоренилъ общественныхъ и политическихъ тенденцій въ русскомъ обществѣ, но привелъ къ величайшему расцвѣту этихъ идей, заставилъ перейти къ нимъ въ концѣ концовъ даже романтическихъ философовъ кружка Станкевича.

Кружокъ Критскихъ не заслуживалъ бы упоминанія, если бы онъ не былъ первымъ кружкомъ Николаевской эпохи и если бы за нимъ не испытали одинаковую участь другіе кружки тридцатыхъ годовъ. Всѣ эти кружки состояли по большей части изъ московской университетской молодежи, изъ той ея части, которая шла вслѣдъ не за «любомудрами», а за декабристами. Въ кружкѣ Станкевича мы не встрѣчаемся съ упоминаніемъ о декабристахъ, а если и встрѣчаемся, то съ отрицательнымъ, какъ, напримѣръ, въ письмахъ Бѣлинскаго; въ этомъ кружкѣ философія заглушала политику (см., напр., извѣстное письмо Бѣлинскаго отъ 7-го августа 1837 г.). Не то въ кружкѣ Критскихъ: тамъ съ благоговѣніемъ относились къ памяти декабристовъ и называли ихъ «великими»; даже самый кружокъ возникъ отчасти изъ-за того, что казнь и ссылка декабристовъ «родила негодованіе» въ сердцахъ юныхъ московскихъ студентовъ. То же можно повторить и о позднѣйшемъ кружкѣ Сунгурова, непосредственномъ предшественникѣ кружка Герцена въ Московскомъ университетѣ; но кружокъ Сунгурова былъ уже однимъ изъ послѣднихъ кружковъ, полныхъ вѣрою въ «беранжеровскую застольную революцію», говоря словами Герцена. Дѣло въ томъ, что разгромъ Польши 1830—31 г. оказалъ сильное вліяніе на политическія воззрѣнія русскаго общества: послѣднія «конституціонныя иллюзіи» радикаловъ и либераловъ были надолго убиты. (Интересно отмѣтить, что именно съ 1830—31 г., какъ мы видѣли выше (гл. IV), окончательно разрываетъ съ былымъ либерализмомъ и Пушкинъ). «Врѣмя, слѣдовавшее за усмиреніемъ польскаго возстанія, быстро воспитывало,—говоритъ Герценъ;—мы начали съ внутреннимъ ужасомъ разглядывать, что... дѣла идутъ неладно, теоріи наши становились намъ подозрительны. Дѣтскій либерализмъ 1826 года... терялъ для насъ, послѣ гибели Польши, свою чарующую силу»... Приходилось искать другого выхода. Одни углубились въ науку, думая найти въ тщательномъ изученіи прошлаго Россіи отвѣтъ на вопросы настоящаго; другіе принялись за изученіе нѣмецкой философіи. Начался періодъ «ученья», по выраженію Бѣлинскаго. Но Герценъ съ Огаревымъ не пошли ни за первыми, ни за вторыми: «мы искали,—разсказываетъ Герценъ,—чего-то другого, чего не могли найти ни въ Несторовой лѣтописи, ни въ

трансцендентальномъ идеализмѣ Шеллинга». Искомое «что-то» оказалось сенъ-симонизмомъ; кружку Герцена суждено было стать первымъ представителемъ утопическаго социализма на русской почвѣ ¹⁾.

«Середь этого броженія,—говоритъ Герценъ,—середь догадокъ, усилій понять сомнѣнія, пугавшія насъ, попались въ наши руки сенъ-симонистскія брошюры, ихъ проповѣди, ихъ процессъ. Они поразили насъ... Новый міръ толкался въ дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сенъ-симонизмъ легъ въ основу нашихъ убѣжденій и неизмѣнно остался въ существенномъ»... («Былое и думы», гл. VII). Такъ начался социализмъ въ Россіи; начались сразу же и его столкновенія съ тѣмъ либерализмомъ, представителемъ котораго въ то время считался Полевой съ своимъ «Московскимъ Телеграфомъ». Герценъ рассказываетъ о своихъ спорахъ съ Полевымъ, считавшимъ сенъ-симонизмъ безуміемъ и утопией, въ то время какъ для кружка Герцена онъ былъ «откровеніемъ». Подобнаго же рода споры происходили, конечно, и съ кружкомъ Станкевича, съ той только разницей, что Станкевичъ и его друзья одинаково отрицали и сенъ-симонизмъ кружка Герцена и либерализмъ Полевого; они стояли на точкѣ зрѣнія совершеннаго отрицанія всякой «политики» и враждовали со всякаго рода «французскими теоріями»: мы уже приводили слова Герцена о томъ, что большой симпатіи между кружками Станкевича и Герцена не было, что другъ друга они считали, съ одной стороны, «сентименталистами и нѣмцами», съ другой — фрондерами и французами... И если Герценъ справедливо видѣлъ въ Станкевичѣ и его друзьяхъ наслѣдниковъ былаго «любомудрія», то не менѣе основательно и кружокъ Станкевича считалъ Герцена съ друзьями послѣдователемъ революціонныхъ идей декабризма: «мы мечтали о томъ,—рассказываетъ самъ Герценъ,—какъ начать въ Россіи новый союзъ по образцу декабристовъ»... Разница была лишь въ томъ, что революціонныя формы декабризма кружокъ Герцена заполнялъ социалистическимъ содержаніемъ; поэтому исторія русскаго социализма начинается именно съ кружка Герцена начала тридцатыхъ годовъ. Конечно, социализмъ этотъ въ кружкѣ Герцена былъ крайне расплывчатымъ, неопредѣленнымъ, колеблющимся, былъ скорѣе настроеніемъ, чѣмъ воззрѣніемъ, дѣйствовалъ скорѣе на сердце, чѣмъ на умъ, но иначе и быть не могло: новое всеобъемлющее ученіе почти всегда воздѣйствуетъ на неофитовъ скорѣе психологически, чѣмъ логически—этимъ только и

¹⁾ Въ кружокъ Герцена и Огарева входили: Вадимъ Пассекъ, Сазоновъ, Сатинъ, Кетчеръ и др.

объясняется та эпидемическая форма, въ которой выражается увлеченіе той или иной теоріей, будь то шеллингианство, утопическій социализмъ, дарвинизмъ, марксизмъ, народничество и т. п.

Въ тридцатыхъ годахъ, однако, не была еще подготовлена почва для широкаго распространенія утопическаго социализма на нивѣ русской мысли; къ тому же кружокъ Герцена, подобно Сунгуровскому, скоро былъ разсѣянъ по всей Россіи (въ 1835 г.). Были, конечно, и внѣ этого кружка отдѣльные сторонники сенъ-симонизма; интересно отмѣтить, что подъ вліяніемъ сенъ-симонизма былъ въ то время не кто иной, какъ В. Боткинъ, по его собственному позднѣйшему признанію; но всѣ подобныя вліянія были и мимолетны и единичны. Послѣ разсѣянія кружка Герцена и вплоть до зарожденія кружка петрашевцевъ (сторонниковъ идей уже не сенъ-симонизма, а фурьеризма) въ Россіи не было группы послѣдователей опредѣленной формы утопическаго социализма. Къ неопредѣленной «соціальности» пришелъ, какъ мы знаемъ, Бѣлинскій послѣ своего разрыва съ теоріей разумной дѣйствительности; въ сороковыхъ годахъ онъ сталъ сторонникомъ «эклетическаго социализма», если можно такъ выразиться, принимая то общее, что было у Прудона и Фурье, Кабэ и Леру (къ концу сороковыхъ годовъ Бѣлинскій разорвалъ съ социализмомъ). На этой «соціальности» сошелся съ Бѣлинскимъ и Герценъ послѣ своего возвращенія изъ пятилѣтней ссылки.

Это соединеніе и сліяніе кружковъ Станкевича и Герцена является тѣмъ рубежомъ, которымъ заканчивается исторія русской общественной мысли тридцатыхъ годовъ и начинается исторія слѣдующаго десятилѣтія; сліяніе это было синтезомъ «умозрительнаго» направленія кружка Станкевича и «политическаго» направленія Герцена и его друзей. Впослѣдствіи Герценъ представлялъ себѣ дѣло такъ, что будто бы къ концу тридцатыхъ годовъ и началу сороковыхъ среди русской интеллигенціи было три главныхъ группы или кружка: въ одну группу входили всѣ будущіе славянофилы, въ другую—всѣ бывшіе члены кружка Станкевича, а третью составлялъ герценовскій кружокъ, при чемъ кружокъ Станкевича неминуемо долженъ былъ раздѣлиться между двумя остальными; такъ и случилось: «Аксаковъ, Самаринъ примкнули къ *славянамъ*, т.-е. къ Хомякову и Кирѣевскимъ; Бѣлинскій, Бакунинъ—къ намъ» («Былое и думы», гл. XXV). Дѣйствительность не совсѣмъ укладывается въ эту схему, такъ какъ утвержденіе, что Бѣлинскій или Бакунинъ *примкнули* къ кружку Герцена, настолько же невѣрно, насколько и противоположное,—что Герценъ примкнулъ къ кружку Станкевича. Въ дѣйствительности оба

эти кружка пошли навстрѣчу другъ другу и *сошлись* посрединѣ дороги: насколько Бѣлинскій измѣнилъ своему былому осужденію французовъ, политиканства и фрондерства, настолько же и Герценъ отказался отъ своего бывшего пренебреженія къ нѣмецкой «умозрительности». Вернувшись изъ ссылки, Герценъ выдержалъ «отчаянный бой» съ Бѣлинскимъ, бывшимъ въ то время въ апогеѣ своего упоенія разумной дѣйствительностью. «Бой былъ неровень съ обѣихъ сторонъ,—разсказываетъ Герценъ;—почва, оружіе и языкъ—все было разное. Послѣ бесплодныхъ преній мы увидѣли, что пришелъ нашъ чередъ серьезно заняться наукой, и сами принялись за Гегеля и нѣмецкую философію»... И если Бѣлинскій вскорѣ отказался отъ своей теоріи разумной дѣйствительности, то зато Герценъ пришелъ къ признанію той «умозрительности», къ которой онъ раньше относился вполне отрицательно. Совершилось сляніе двухъ кружковъ: въ гегельянскія формы философіи кружка Станкевича было вложено социальное и даже социалистическое содержаніе, исповѣдывавшееся кружкомъ Герцена; «умозрѣніе» и «политика» соединились воедино и соединили бывшихъ враговъ въ одну идейную группу. «Въ 1842 году сортировка по средству давно была сдѣлана, и нашъ станъ сталъ въ боевой порядокъ лицомъ къ лицу съ славянами», вспоминаетъ Герценъ. Кирѣевскіе, Аксаковы, Хомяковъ и др. съ одной стороны; Бѣлинскій, Герценъ, Грановскій, Боткинъ и др. — съ другой: вотъ тѣ два стана, борьба которыхъ заполняетъ собою исторію сороковыхъ годовъ и изученіе эволюціи которыхъ за предыдущее десятилѣтіе составляло нашу задачу.

Кружокъ Веневитинова, кружокъ Станкевича, кружокъ Герцена, славянофилы и западники: исторія этихъ кружковъ и группъ есть исторія русской общественной мысли, начиная съ двадцатыхъ и кончая сороковыми годами. Какъ видимъ, эта эпоха была періодомъ «кружковщины» среди русской интеллигенціи, и на этомъ фактѣ надо особенно остановиться для правильнаго освѣщенія характера тридцатыхъ годовъ; на это уже давно обратили вниманіе, съ одной стороны Герценъ, съ другой — Кавелинъ. Герценъ подчеркнул неизбежность распадѣнія молодежи тридцатыхъ годовъ на отдѣльныя группы. «Тридцать лѣтъ тому назадъ, — писалъ онъ въ 1860 г., — Россія *будущаго* существовала исключительно между нѣсколькими мальчиками..., а въ нихъ было наслѣдіе общечеловѣческой науки... Это начальныя ячейки; зародыши исторіи... Мало-по-малу изъ нихъ составляются группы. Болѣе родное собирается около своихъ средоточій; группы потомъ отталкиваются другъ отъ друга. Это расчлененіе даетъ имъ ширь и многосторонность для развитія; развиваясь

до конца, т.-е. до крайности, вѣтви опять соединяются... («Былое и думы», гл. XXV). Процессъ этотъ завершается къ началу сороковыхъ годовъ, когда изъ разнородныхъ и неустойчивыхъ кружковъ образуются двѣ стойкія и вполне опредѣлившіяся группы. Кавелинъ съ своей стороны указываетъ на воспитательное и развивающее значеніе кружковъ той эпохи: кружки эти были школой и маякомъ, указывающимъ направленіе пути цѣлому ряду одинокихъ путниковъ (см. Кавелинъ, Собр. соч., т. III, стр. 1115 и сл.). Но все это только внѣшняя сторона вопроса; гораздо важнѣе обратить вниманіе на внутренній смыслъ существованія этихъ кружковъ, на ихъ идейное значеніе не для современниковъ, а для всей исторіи русскаго сознанія, на ту мысль, которая одухотворяла собою всѣ кружки тридцатыхъ годовъ. Выработка цѣльнаго міровоззрѣнія, «единой всеобнимающей идеи», принципа, объемлющаго собою весь міръ—вотъ та внутренняя пружина, которая скрыта и въ шеллингянствѣ «любомудровъ» и Станкевича, и въ сень-симонизмѣ кружка Герцена, и въ гегельянствѣ Бакунина и Бѣлинскаго. Въ разныхъ формахъ философскаго романтизма и утопическаго социализма проявилась эта идея въ тридцатыхъ годахъ, но внутренняя сущность ея была все время одна и та же: шеллингянская метафизика, социальный переворотъ, принципъ любви и самосовершенствованія—все это было поисками за обобщающей идеей, за міровымъ принципомъ. «Человѣчество», «міръ», «вселенная»—вотъ слова, которыя въ тридцатыхъ годахъ замѣнили собою лозунги предыдущаго десятилѣтія: «права человѣка», «отечество», «свобода», «конституція»... Соединить интересы отечества съ судьбами человѣчества, стремленіе къ политической свободѣ—съ борьбой за социальное освобожденіе; сохранить широкое и общее міровоззрѣніе и дать въ немъ видное мѣсто отдѣльному единичному человѣку—вотъ требованія, которыя непосредственно появились въ результатѣ общественныхъ и умственныхъ теченій двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Славянофилы, западники, Бѣлинскій, Грановскій, Герценъ дали въ сороковыхъ годахъ различные отвѣты на тѣ запросы, которые явились необходимымъ слѣдствіемъ умственнаго движенія двухъ предыдущихъ десятилѣтій.

Самыми общими штрихами обозначили мы въ настоящей главѣ исторію развитія русской общественной мысли тридцатыхъ годовъ; теперь намъ предстоитъ подробно разобрать основныя проблемы этого развитія съ той точки зрѣнія, на которой мы стоимъ въ этой книгѣ. Посмотримъ, какъ ставилась и рѣшалась людьми тридцатыхъ годовъ

проблема индивидуализма, какъ относились они къ этическому мѣщанству. Мы остановимся только на одномъ имени, но въ немъ — вся исторія русской интеллигенціи тридцатыхъ годовъ; это имя — Бѣлинскій.